

ПАНОРАМА

Борис Домбровский (Львов)

БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ КАК ПРИМЕР РЕИЗМА

Boris Dombrovskiy (Lviv)

The Tower of Babel as an example of reism

Building the tower in Babylon is interpreted as the manifestation of creativity, comparable in its intention to the creativity of God. There is an assumption that the result of this creativity is the division of previously common language, which may serve as an indirect confirmation of the creationist concept of creation through the God's Word.

From the point of view of historical grammar the article traces the evolution of denotative expressions up to the phenomenon of description. Unlike Russell, the author states that imagined objects may cause ontological failure of description, not the failure of meaning. The same result is obtained during the construction of artificial languages, which are capable to create virtual objects.

Thereby the linguistic creation, which has replaced esthetic creation, not only confirms the availability of protective mechanism of language, which impedes the creation of objects, but actually strengthens it. This is confirmed by the decrease in number of natural languages. The main thesis is that the shift from esthetic creativity to the linguistic one signifies a new stage, which, in terms of the history of philosophy, should be called Apophatic philosophy. Its main subject is study of the inner mechanisms of language protection against creation of objects (reism).

1. Вавилонское столпотворение

Если «Каин» и производное от него слово «окаянный» ассоциируются с *уничтожением* вершины всяческого *творения*, то «Вавилон» означает противоположную ситуацию – не уничтожения, а созидания ранее не сущего.

Поскольку в истории действует кумулятивный эффект, сохраняющий до сегодняшнего дня и стены каинитов, и все новые вавилонские башни, то анализ отмеченных явлений может быть проделан в современной терминологии без опасения того, что его результаты окажутся неприменимыми к объяснению первоначальных ситуаций, т. е. к собственно Каину и построению Вавилонской башни.

© Б. Домбровский, 2010

Скажем сразу, что лейтмотивом действий вавилонян является творчество, или, говоря иначе, желание занять место Творца. А что является творчеством, или какие действия следует называть творческими, а какие нет? Является ли постройка жилища или корабля творчеством? В какой-то степени – да. Однако степень эта умалается по мере создания копий. Зато можно определенно сказать, что творчеством является создание кумиров, представляющих различных богов. И не потому, что будет создано некоторое количество копий изображения какого-то бога, а потому, что в сознании такой бог один. Поэтому действия людей можно определить как творческие только по отношению, с одной стороны, к неким высшим началам бытия, а с другой, как создание единичных, или уникальных вещей. Книга же Бытия такие начала фактически исключает, говоря, что люди могут властвовать над всем *уже созданным* Творцом. Поэтому в творчестве людям остается если и не властвовать над Богом, то самим стать как боги. Но может ли человек в своей гордыне сравняться с Богом, ведь он создан «по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1: 26), т. е. он сотворенное, а не Творец. В частности, подобие проявляется в свободной воле, столь необходимой для творчества. Поэтому даже заповеданное размножение людей есть творческий акт, причем от преизбытка любви, и в этом человек наследует Творца. Правда, человек настолько извратил себя, что подобное творчество не всегда ему это удается, а если оно успешно, то всегда существует опасность умножения первородного греха, что и объясняет слова Спасителя: «Ибо есть скопцы, которые от чрева матери родились так; и есть скопцы, которые оскоплены были людьми; и есть скопцы, которые оскопили самих себя для Царства Небесного» (Мф. 19: 12). Но уж если человек родился, то должен прислушаться к притче о талантах. В конечном счете, родившемуся дается имя, в котором по замыслу родителей может, или должна быть отражена сущность новорожденного.

Такой же путь – от созидания существования к сущности в имени – вознамерились пройти и строители Вавилонской башни, реализуя замысел создания единичной вещи. Присмотримся ближе к этому творческому акту.

Бытие 11:

3 «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести».

Совет держали между собой, а не с Богом, что свидетельствует о едва ли не окончательном Его забвении в среде советующихся. А значит, никакого сдерживающего начала не было, почему высказанная одним гордыня и стала достоянием многих. Кратко говоря, вымысел был «от себя». Не из природных камней вознамерились строить, а создали материал для постройки, скрепляемый самым отвратительным – смолой, что подчеркивает, какой силой будет удерживаться постройка. При постройке подобное к подобному тяготеет: камень, например, известняк к известковому раствору, а обожженный кирпич – к смоле. Кирпич как унифицированный строительный материал не предопределяет тип будущего объекта, не содержит потенциально

действия по созданию какого-то объекта, короче говоря, он не является вещью, каковой будет каждый камень из каменоломни. Унификация кирпича выражается в употреблении этого слова во множественном числе, а также его сравнением с камнем: «стали у них кирпичи вместо камней». Вероятно, прежде чем приступить к постройке башни, люди уже строили из кирпича стены. Не потому ли при постройке жертвенника в Иерусалимском храме предписывалось его создание из природных камней, а не кирпича, чем подчеркивалась уникальность всего сооружения.

4 «И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли».

Фраза «рассеемся по лицу всей земли», как кажется, может свидетельствовать о характере демографических процессов, например, о росте населения, которое очень быстро перестает помещаться внутри стен. Разумеется, возможны и другие причины рассеяния, которые не будем здесь измышлять по понятным соображениям. Очевидно одно: стены перестали выполнять сдерживающую роль, или ослабили ее настолько, что стена перестала служить запретом. И причина такого положения дел была, вероятно, не внешняя, а внутренняя. Например, в соответствии с указанной демографической причиной, появление все новых и новых родов, вступающих в соперничество между собой, что грозило забвением имени прародителя. А чтобы этого не случилось, было принято решение об общем для всех, скажем так, памятнике – башне, являющейся общим делом, а значит и общим достоянием. Как бы там не было, а строители предчувствовали, что в результате осуществления столь дерзновенного, ибо «до небес», замысла им придется разойтись. Итогом коллективного труда с использованием унифицированного строительного материала, каковым был кирпич, должно было быть уникальное сооружение – «башня, высота до небес». Это было несомненное творчество, сравнимое с деяниями Того, Кто на небесах и, разумеется, оно не могло не остаться без последствий.

Фраза «сделаем себе имя» свидетельствует об уникальности башни, ведь она должна удивить и о ней должны говорить все. Когда все говорят об одном – это момент выражает гордыню. Намерение рассеяться означает признание строяемого города и башни в качестве центра, к которому из рассеяния они будут обращаться.

Итак, построим сначала башню, а потом сделаем себе имя. Эта последовательность – от существования к сущности в имени является ключевой и определяет направление и результат творчества: если творческий акт удался, то его результат будет поименован. И наоборот, неудача в номинации будет свидетельствовать о фиаско создателей.

5 «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие».

«Сошел Господь» означает, что Он начал действовать через свое подобие, которое уже нечто построило – город и башню, на которые уже можно было взирать.

6 «И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать»;

«Не отстанут они от того, что задумали делать» – в этой фразе ключевое слово «задумали», т. е. замысел у всех был один и тот же. Это был замысел, несомненно, творческой вещи, ибо уникальной, но созданной покамест еще в воображении. Воображение же можно трактовать и шире, как некое духовное состояние гордыни, т. е. строители были поражены изнутри и уже никакое сдерживающее начало в виде запрета на них не действовало. Вспомним, что стены как эквивалент запрета для действующих изнутри и устанавливающих свое законодательство перестают действовать, что и нашло свое выражение в решении выйти за стены. Поэтому эффект сублимации, вызванный запретом, уже не мог иметь места, а значит «не отстанут они от того, что задумали делать». Воображение же у каждого свое и вполне может отличаться от воображения соседа. Был ли среди строителей архитектор? Вряд ли, ибо гордыня не терпит подчинения. Поэтому среди строителей могли возникнуть словесные перепалки по мере построения башни из-за конструктивных особенностей, последовательности выполняемых действий и т. п.

7 «сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого».

Если вспомнить, что человек подобие Творца, то, начав действовать через человека, Творец тем самым «сошел». Очевидно, не физически Творец начал действовать, а через язык: Он его смешал. Что означает «смешать» язык? Попробуем ответить на этот вопрос.

В языковом плане конечный результат обычно трактуют как разделение некогда единого языка. Но в тексте стоит именно «смешаем». Если «разделение» выражает внешний взгляд, то «смешение» – это взгляд как бы изнутри. Как кажется, только свидетель или участник этого дерзновенного замысла, использующий язык в строительстве, может сказать «смешали», т. е. приблизительно так, как каждый про свое деяние, потерпевшее неудачу, может сказать, что некто смешал ему все карты.

Итак, до начала построения башни смешение языка не наблюдалось. В процессе построения башни были возведены некоторые ее части. Вот этим частям и понадобились имена. Ведь если смешать унифицированные кирпичи, смолу, то вряд ли возникнет путаница и в кирпичах, и в словах. А вот результаты действий по построению башни требуют имен. И вслед за известным лингвистом можно было бы как тогда, так и теперь сказать: «Мы до сих пор не знаем, как имя обозначает». Говоря иначе, строители потерпели неудачу в именовании частей возводимого сооружения.

8 «И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]».

Подводя итог строительству Вавилонской башни, можно, как кажется, попросту сказать: гордецы переругались.

9 «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».

Люди действительно не перестали строить башни, а остатки зиккуратов до сегодняшнего дня возвышаются на Ближнем Востоке. Каково их первоначальное предназначение, какова сущность – все это остается загадкой, а возможно таковой она была и для строителей башни, ведь гордыня бессловесна.

Основной вывод, который может быть сделан из описанного в Книге Бытия созидания башни до небес, как кажется, таков: создание уникальной вещи невозможно, или от существования к сущности, получающей свое выражение в языке, придти невозможно. Поэтому широко понимаемое эстетическое творчество не приводит к творчеству словесному. Оно есть – выскажем такую гипотезу – результат смещения имен частей возводимого сооружения. Несомненно, к настоящему времени все имена утеряны, но с точки зрения языка, вероятно, можно говорить о частях речи, т. е. грамматике, а поэтому считать, что в Вавилоне появились зародыши глагола и существительного. Историческая грамматика, отражающая развитие языка как следствие – по крайней мере, в философии – реистической позиции, свидетельствует о кризисах, подобных вавилонскому. Но от события в Вавилоне до появления философии достаточно большой временной промежуток, о котором можно только сказать, что он был заполнен преимущественно эстетическим, а не словесным творчеством, или, говоря иначе, слово еще не вступило в свои права. А вступило оно тогда, когда внимание людей стала занимать не одна вещь, а все вещи сразу, или ни одна из конкретных вещей. Тогда внимание оказалось привлечено к сущности, к качественной определенности всех уже существующих вещей. К существительному и глаголу добавилось прилагательное. Это и стало началом философии.

2. Неосознанное разделение языка

Прежде, чем перейти к философскому периоду трансформации естественного языка, выскажем некоторые гипотезы о дальнейшей судьбе некогда единого языка. На первый взгляд может показаться, что результатов построения Вавилонской башни два: расселение людей «по лицу всей земли» и «смешение», или разделение некогда единого языка. Однако легко видеть, что действует один механизм разделения применительно как к людям, так и языку, из чего, вероятно, справедливо заключают о языке как примете, идентифицирующий этнос. Но есть и отличие в рассматриваемом разделении: добровольное намерение – «сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11: 4) – совпадает с воздаянием за содеянное Богом – «И рассеял их Господь оттуда по всей земле; (Быт. 11: 8). Правда, разделение единого языка противоречит намерению людей создать имя, которое, чтобы быть именем, должно быть общим для всех, ибо иначе оно не имя. И как бы не трактовать фразу «сделаем себе имя» — буквально, или

аллегорически, несомненно, что «смешение» языка не входило в намерение людей и является исключительно деянием Бога.

Вернемся к началу повествования о строительстве башни и отметим, что вначале у создателей сооружения возникло, скажем так, предчувствие того, что им придется рассеяться, а когда это чувство окрепло, тогда и было принято решение «сделать себе имя». Как кажется, фразу «сделаем себе имя, *прежде* нежели рассеемся по лицу всей земли» иначе трактовать нельзя. Искать ответ на вопрос, что послужило конкретной причиной (или причинами) разобщения единого народа, вероятно, занятие бесполезное. По-видимому, можно просто констатировать несогласие по многим вопросам, в том числе и в вопросе построения башни. Возможно, кто-то из потомков Сима, например, Фалек, во дни которого была разделена земля (Быт. 10: 25) и из рода которого произошел Авраам, отличавшийся праведностью, был не согласен с возведением башни. А тогда и язык в его роде претерпел минимальные изменения. Прочие же потомки Ноя не только сами разошлись по всей земле, но «разошлись» и их языки. И здесь можно предположить, что одни из строителей извлекли уроки из построения «башни до небес» и перестали строить подобные сооружения, другие же, как говорит текст, «не отстанут они от того, что задумали делать» (Быт. 11: 6), т. е. эти продолжали строить подобные сооружения, остатки которых, т. н. зиккураты стоят среди песков до сих пор. Попробуем уточнить высказанное предположение и более развернуто ответить на вопрос: в чем может состоять урок, извлеченный из построения уникального объекта до небес? А урок мог быть таким: не только не строить более башен до небес, но и вообще не создавать никаких подобных, т. е. уникальных вещей, или, говоря иначе, не только не создавать, но наоборот, не разрушать и трепетно относиться к существующему. Огрублено говоря, у таких племен акцент был проставлен на существовании. Единственным монументальным сооружением в своей поднебесной стране, отгораживающим ее жителей от строителей башен до небес, была уже известная им стена, в которой высота оказалась наименее значимой характеристикой всего грандиозного сооружения. Но были и такие, кто воспользовался природными условиями обитания и не возводил стен, закрыв свою страну естественным образом.

Если теперь вернуться к тезису о параллелизме разделения народов и их языков, утверждающему, что у тех, кто продолжал активно строить стены и башни, у тех и процесс разделения шел быстрее, а у тех, кто извлек урок из такого построения, у тех этот процесс был замедлен, то вряд ли можно сделать какой-либо определенный вывод о направлениях развития языков, построенный на их сравнении, поскольку как исходные установки этносов были разнонаправлены, так и условия трансформации языков по мере расселения все более и более отличались. Поэтому сравнение может быть проведено не на основании общности, а на основании отличий, закрепленных, подобно различию между Авелем и Каином посредством стены, в материале. Кратко говоря, следует начать говорить о письменности диаметрально

разошедшегося некогда единого языка. Но говоря о письменности, будем учитывать высказанный тезис, отражающий различие в скоростях трансформации языков разошедшихся «по лицу всей земли» этносов.

Те, кто продолжал строить стены и башни, занятый созиданием, далеко не ушел, а некоторые племена, возможно, вообще никуда не тронулись: халдейская ученость повсеместно известна. И башни, превратившиеся в культовые сооружения, стали средоточием жрецов, добывавших все новые знания. Тем самым акцент был проставлен на сущности вещей и явлений. А поэтому с точки зрения языка, отражавшем существование и сущность, письменность одних должна отражать существование, а других сущность. Причем там, где внимание уделяется сущности, скорость происходящих в языке изменений, как и представлений о таких изменениях, выше, нежели там, где внимание уделяется существованию. Предельно обобщая это различие, можно сказать, что одни продолжили культивировать в своей среде творческий порыв, а другие, например, в Поднебесной угасили его. Обращаясь теперь к письменности, легко видеть, что внимание к существованию заметно в иероглифической письменности, а к сущности – в алфавитной письменности, берущей начало от финикийского письма, которое, благодаря грекам, положило начало флективным языкам, содержащим части речи с присущим им синтаксисом [Иоганнес, 1979: с. 127]. Иероглифическое письмо, которому предшествовало идеографическое, называют также предметным. Предметы, например, в даосизме не имеют пространственной формы, которая трансформируется в пространство времен, позволяющих более полно выделить смысл отдельного предмета. Однако сочетание таких временных предметов не только может оказаться парадоксальными, но и призвано быть таковыми, чтобы продемонстрировать пустоту человеческих понятий о предметах, а тем самым закрыть путь к сущности. Как следствие, иероглифическое письмо не знает тропов, столь важных для познания сущности. Поэтому, понятий, которые появятся в античности, а затем и универсалий китайская философия, как кажется, не знает. Сущность вещи в этой письменности не отделима от ее изображения. Поэтому эта ветвь имитаторства рассматриваться не будет. Здесь творчество оторвано от познания, которому парадоксальность высказываний преграждает путь, и носит оно преимущественно эстетический характер. Флективные же языки продолжают поиск границ, начатый разделением единого языка в Вавилоне, и будут делать это, как кажется, с единственной целью – поиском сущности вещи, которая – как показал Аристотель – скрывается за формой словесного выражения.

3. Отражение реизма в исторической грамматике

В классической грамматике иерархическая связь частей речи интерпретируется обычно статически, по образцу иерархии категорий Аристотеля. Да и сам Аристотель с различных точек зрения занимался частями речи в своих работах «Об истолковании» (*Περὶ Ἑρμηνείας*; лат. перевод *De interpretatione*), «Риторике» и «Поэтике». В «Об истолковании» он признает существование

только двух частей речи – *ὄνομα* (имя существительное) и *ῥῆμα* (глагол). Их отличие состоит, главным образом, в возможности выражать время. Имя существительное Аристотель определил как «звукосочетание с определенным значением безотносительно ко времени» [Аристотель, 1978: с. 93], тогда как «глагол выражает еще и время», а также является «знаком для высказывания про иное» [Аристотель, 1978: с. 94]. Таким образом, *rhēma* служила для выражения атрибутов, которые размещались в субъекте. Место сказуемого мог занимать не только глагол, но и прилагательное, а также существительное совместно с глаголом «быть» в соответствующей форме. Следующим шагом на пути унификации сказуемого было то, что Питер Гич назвал первородным грехом Аристотеля – редукцию сказуемого в форме глагола к причастию. [Geach, 1971: s. 283–290] В результате (21b 9-10) Аристотель интерпретирует предложение «человек идет» как «человек есть идущий» (*οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἶπεν ἄνθρωπον βαδίζειν ἢ ἄνθρωπον βαδίζοντα εἶναι*: «ибо нет никакой разницы, сказать ли “человек идет” или “человек есть идущий”»). Следствием этой редукции стало принятие не только усложненной формы сказуемого (предиката), но и подлежащего, поскольку открытый Аристотелем силлогизм не предполагал предикативности термина с необходимостью из-за того, что в одной посылке один и тот же термин мог быть сказуемым (предикатом), а в другой – подлежащим (субъектом).

Таким образом, поскольку каждое сказуемое, в том числе и сказуемое существования, приписывалось подлежащему как его имманентное свойство, то сказуемому последовательно стали отказывать в каких-либо семантических свойствах, а связку начали трактовать как элемент отношения или логического выражения утверждения (асерции). Так интерпретировали связку средневековые комментаторы Аристотеля, в частности Пьер Абеляр, а грамматическая концепция глагола как сугубо формального элемента предложения находит поддержку в грамматике Пор-Рояля, в которой продолжается приписывание атрибутов: *Petrus vivit* (Петр живет) рассматривается как *Petrus est vivens* (Петр есть живущий). Антуан Арно и Пьер Николь выделяют три основных вида слов: «имена, местоимения и глаголы; два последних вида слов заменяют имена, но только различным способом» [Арно, Николь, 1991: с. 100]. Относительно прилагательных они говорят, что это только модусы существования и «хотя значение модуса более отчетливо, оно, однако, является косвенным, и наоборот, значение субъекта, хотя оно и смутно, является прямым» [Арно, Николь, 1991: с. 102].

Редукционистский подход к глаголу, инициированный Аристотелем, сопровождался реалистической интерпретацией всех именных частей речи, в том числе и прилагательного. Достаточно было приверженцев взгляда, будто бы уже сам Аристотель трактовал произвольное прилагательное, например, «белый» как онтологическое бытие, как вещь («белизна»), которая распределена в субъекте и воздействует через него. Понятие субстанции позже закрепило этот взгляд. С тех пор в языкознании стало чем-то привычным

трактовать именные части речи как основные составляющие предложения и анализировать их при помощи понятия синтаксической функции как подлежащее или сказуемое.

Со временем идея верховенства существительного над сказуемым кристаллизовалась и приняла вид теоретической догмы. Именно на ее основании Лейбниц старался построить рациональную грамматику, т. е. *characteristica universalis*, которую можно рассматривать как собрание традиционных взглядов на части речи, поскольку описание «упрощенной латыни» он трактовал как опосредующее звено между рационально обоснованной универсальной грамматикой и существующими языками [Лейбниц, 1984: с. 623]. Вот некоторые высказывания Лейбница, в основу которых положено указанное верховенство существительного. Он пишет: «Все части языка можно свести к имени, обозначающему субстанцию, *бытие*, т. е. *вещь*, связки, т. е. глагола, обозначающего *бытие*, прилагательных и формальных частиц» [Leibniz, 1903: p. 169]. Лейбниц готов лишить глагол признака числа («число не необходимо глаголу, поскольку его легко можно вывести из соседнего существительного») и лица («лицо глагола не обязано изменяться; достаточно изменять местоимения я, ты, этот и т. д.» [Leibniz, 1903: p. 289]. Даже время, этот последний оплот глагола, знаменующий связку, Лейбниц не считает неотъемлемой категорией глагола и полагает, что оно может быть перенесено на существительное: «Время и место могут соединятся не только с глаголом, но также и с существительными, как это мы видели на примере причастия, которое являются ничем иным, как только существительными». Даже по отношению к древнееврейским корням, которые, как правило, ведут свое происхождение от глагола, Лейбниц признается, что хотел бы их трактовать как именные части речи: «Еврейский корень является глаголом, но я желал бы, что бы он был существительным, как *vita* (жизнь)» [Leibniz, 1903: p. 289].

Таким образом, Лейбниц стремится для своих целей извлечь логические следствия из традиционного подхода, распространяя их и на неевропейский язык. Конечно, Лейбниц не был единственным, кто провозглашал генетическое первенство существительного перед глаголом. От историзма Джанбаттисты Вико до Кондильяка вопрос первичности был вопросом *per se*, тогда как Лейбниц стремился трактовать его утилитарно, нарушая тем самым принцип Аристотеля. Это была одна из первых попыток одеть ярмо на естественный язык и, нужно заметить, попытка удачная.

Вера в первичность существительного по сравнению с глаголом начала угасать во второй половине XVIII ст. Новая интерпретация соотношения существительное-глагол появилась почти одновременно в трех разных странах: в Германии, Голландии и Англии. Несмотря на тесные контакты языковедов этих стран, окончательное формирование теории «сначала был глагол» приходится на первую половину XIX ст. и принадлежит почти исключительно немцам. Здесь, прежде всего, следует назвать Иоганна Готфрида Гердера, Вильгельма Гумбольдта и Хеймана Штейнталя. Ведущая

роль и генетическое первенство глагола – вот основной мотив, к которому постоянно обращается Гердер в своих работах о поэзии и языке. Но уже для Гумбольдта тезис о первичности глагола в таком, как у Гердера, т. е. сугубо генетическом и натуралистическом виде, неприемлем. Для него язык дан во всей целостности, но не как «продукт деятельности (ergon), а как деятельность (energeia)» [Гумбольдт, 1960: с. 73]. Эта деятельность возникает вследствие неустанного напряжения между звуком и значением, духом и материей и таким образом составляет сущность эволюции языка. Флективные языки с их «символическим» использованием фонетического материала соединяют формы этой деятельности на самом высоком уровне и представляют наиболее полную форму («внутреннюю форму») языка: «Нельзя себе представить, чтобы создание языка начиналось с обозначения словами предметов, а затем уже происходило соединение слов» [Гумбольдт, 1960: с. 73].

Штейнталь в определенной мере возвращается к естественной интерпретации языка, оставленной Гумбольдтом. В частности, он считал, что Гумбольдт сам поколебал фундамент, на который опирался, поскольку его универсальная «внутренняя форма» не может быть предметом исследования вне ее конкретных реализаций в языках мира. Sprachidee можно объективировать лишь в эмпирических исследованиях грамматических (точнее, морфологических) систем различных языков мира, которые позволяют всматриваться в ментальность народов, использующих эти языки. В качестве основного критерия Штейнталь (вслед за Гумбольдтом) принимает разделение частей речи на именные и глагольные, поскольку развитие форм глагола предоставляет наиболее убедительные указания относительно способностей духа народа (Volksgeist) к синтезирующей «аперцепции». Благодаря этой способности человек может проектировать свою личность (das Ich) как первый опорный пункт в мире меняющихся предметов, которые проявляются в этом синтезирующем акте как предикаты. Итак, по Гумбольдту, предикаты были первыми выражениями языка.

Обнаружение санскрита и метода сравнения, казалось бы, укрепило основания генетической теории индоевропейских языков и вместе с тем подтвердило повсеместно признанную концепцию науки, в частности, языкознания как поясняющей процедуры, особенно ее историзм и органическое воспроизведение мира. Теперь можно было говорить про Urformen и Ursprache почти в эмпирическом представлении. Механическое или же органическое происхождение индоевропейских флексий, идеальный или реальный характер корня – вот главные теоретические вопросы дискуссий индоевропейского языкознания в XIX ст. Первые европейские исследователи санскрита не имели никаких сомнений в том, что все или почти все слова происходят от корня глагола.

Здесь не место для изложения развернутой картины господствующих и исчезающих тенденций в языкознании даже в четко определенном вопросе о соотношении «существительное – глагол». Поэтому внимание должно быть обращено, как кажется, на ключевой пункт, каковым является не столько

нахождение праязыка, сколько внутренней единицы анализа – корня, праформа которого продолжала оставаться предметом дискуссий. И здесь чаша весов качнулась в противоположную сторону: к концу девятнадцатого столетия дискуссия по вопросу сравнения хронологии именных и глагольных частей речи изменила направление, поскольку генетическое первенство опять стали отдавать существительному. Но это изменение не было возвратом к старым позициям. Наоборот, она еще раз оживила теорию первородства глагола. Однако теперь основной единицей первичного языка стали признавать предложение, а не отдельные слова.

Обобщенная картина того, что происходило в конце девятнадцатого столетия в языкознании, в частности, обращение хронологии частей речи, объясняется идеей прогресса, которая охватила не только лингвистов, но стала символом веры каждого ученого. Если лингвисты эпохи романтизма – золотого века языкознания всматривались в прошлое и могли восхвалять глагол в только что найденном праязыке, то устремленные в будущее лингвисты позитивистской эпохи могли подчеркивать его превосходство как конечный результат его непрерывного и поступательного развития.

4. Осознанное разделение языка

В этом месте оставим языкознание, отмечая единственно, что амплитуда осциллирующей мысли в отношении существительное – глагол начала уменьшаться до нуля, поскольку единицей анализа стало предложение – отдельное выражение. В философии рассматриваемая дилемма проявилась в поисках праформы суждения, которое, казалось бы, уже со времен Аристотеля было разделено на субъект и предикат. Правда, здесь речь, пожалуй, шла о логической форме, а не о праформе. Так Иоанн Фридрих Герbart и Адольф Тренделенбург усматривали праформу суждения в выражении, которое состоит только из предиката, т. е. так называемые безсубъектные суждения вроде «гремит», «трещит» и т. д. Несколько позже Франц Brentano приходит к такому же взгляду на суждение, причем в его трактовке речь идет уже не только о предикате, или только о субъекте, представляющим праформу суждения.¹

Таким образом, процессы исследования суждения как в языкознании, так и в логике проходили параллельно, свидетельством чему является один и тот же результат – т. н. тетическая форма (предложение-выражение). Чем заполнить эту форму – именными членами языка (существительным, субъектом), или же глагольными (сказуемым, предикатом) – этот вопрос остался открытым. При таком подходе из предложения (соотв. суждения) фактически элиминировалось отношение частей материи суждения, представляемое, в частности, связкой «есть». Этому слову отводилась формообразующая роль и оно лишалось какой-либо интерпретации, в том числе, конечно, экзистен-

¹ Критические замечания Brentano относительно концепции Герbart и Тренделенбурга содержатся в его статье «Микроскоп о безсубъектных предложениях» [Brentano, 1874].

циальной. Действительно ли предложение (независимо от направления эволюции языка) может быть редуцировано к одной из частей речи – этот вопрос остается открытым.

Прошло больше двух тысяч лет и вопрос редукиции оставили главным образом благодаря Готтлобу Фреге, Бертрану Расселу и Людвигу Витгенштейну. Фреге мы обязаны тем, что современная логика признает абсолютное отличие между именами и сказуемыми (предикатами), а буквы, которые отмечают изменение этих семантических категорий, выбирают из разных частей алфавита и разного размера. Это различие носит функциональный характер и привело к понятию пропозиции. Рассел подчеркнул это отличие и отбросил тезис об именной роли логически сложных выражений (тогда как Фреге еще признавал некоторые из них именами), введя в рассмотрение дескрипции. В результате оказалось, что параллельные исследования суждения – в языкознании и логике – перестали быть таковыми, ибо, с одной стороны, связка «есть» была окончательно устранена из анализа выражений языка, а экзистенциальный статус, которого ее пытались лишить на протяжении долгого времени, она обрела сначала в теории множеств, а затем и во всякой математической структуре, послужившей моделью существующего мира, что, с другой стороны, позволило выделить логические исчисления, или – как говорили в начале XX ст. – логику. В конечном счете, нарушение отмеченного выше в анализе языка параллелизма грамматики и логики вылилось в разделении языка на естественный и искусственный.² В самом общем виде о таком разделении можно сказать, что первый не от человека, но через человека, а второй – по определению, а значит изначально, от человека. Последствия такого разделения еще предстоит изучить.

Заканчивая настоящий раздел, вернемся к открытому вопросу редукиции суждения к одной из именных частей речи: не является ли тегическая форма выражения, в частности суждения, дескрипцией, ведь именно в тегическом акте полагается существование предмета высказывания? Вряд ли ответ на этот вопрос может быть дан в коротком историческом абрисе взглядов на именные формы естественного языка. Ретроспектива может лишь свидетельствовать о расстановке акцентов, которые помогут в дальнейшем более подробно разобраться в эволюции естественного языка, происходящего в результате творческой активности его носителя. Однако теперь не кирпичи оказались необходимыми для созидания уникального предмета, каковым была Вавилонская башня, а естественный язык, универсальность которого позволяет в тегической форме, а в действительности в форме дескрипции полагать существование произвольной вещи. А такое творчество, будь оно осуществимо, много продуктивнее, нежели созидание строения из кирпичей, поскольку в сознании каждого из воспринимающих дескрипция создает свой образ описываемого предмета, несомненно, в

² Деление языков на естественные и искусственные в свою очередь, как кажется, искусственное, поскольку если его принять, то для искусственного языка оказывается необходим метаязык, в качестве которого, как правило, выступает естественный язык.

чем-то отличный от образа предмета, данного в первичном описании. Кратко говоря, сколько воспринимающих описание душ – столько и описываемых вещей. А уж средства массовой информации сделают всё, чтобы умножить их количество. Как кажется, в естественном языке содержатся механизмы, препятствующие приумножению несуществующих вещей. Так, если в сказках и описываются неосуществимые вещи и ситуации, то их существование локализуется временными и пространственными маркерами, например, «в таком-то царстве, в такое-то время» и т. п. оговорками, запрещающими реальное существование. Однако сегодня дескрипция вошла в язык науки и должна стать объектом систематического исследования. Даже если бы мы предположили использование дескрипции строителями Вавилонской башни, то и в той далекой ситуации можно было бы указать появление защитного механизма языка, известного сегодня как «испорченный телефон», функционирование которого состоит в таком искажении первоначальной информации, которое не позволит завершить начатое строительство. Ведь общим у имени и дескрипции то, что они являются обозначающими выражениями. Но ситуация обостряется до кризисного состояния только тогда, когда денотатом оказывается уникальная вещь.

ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель* Об истолковании // Аристотель Соч. в 4-х т. – М.: Мысль. – Т. 2. – 1978. – С. 91–116.
- Арно А., Николь П.* Логика или Искусство мыслить. – М.: Наука. – 1991. – 414 с.
- Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / стереотипн. изд. с Библии 1968 года – М.: изд-во Московской патриархии. – 1988. – 1372 с.
- Гумбольдт В.* О различении строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, Ч. I. — М.: Просвещение. – 1960. – С. 85–105.
- Иоаннес Ф.* История письма. – М.: Наука. – 1979. – 464 с.
- Лейбниц Г.* Некоторые логические трудности // Лейбниц Г. Соч. в 4-х т. – М.: Мысль. – Т. 3. – 1984. – С. 623–631.
- Brentano F.* Miklosich über subjektlose Sätze // Psychologie vom empirischen Standpunkt, Bd. II / hrsg. von O. Kraus. – Leipzig: Meiner. – 1874. – p. 183–196.
- Geach P.* Nazwy i orzeczniki // Semiotyka polska: 1894–1969. – Warszawa: PWN. – 1971. – S. 283–290.
- Leibniz G.W.* Opuscles et fragments inedits / éd. Couturat L. – Paris: F. Alcan. – 1903. – 683 p. (Цит. по *Stankiewicz E.* Czesci mowy w filozofii gramatyki // Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne. – Warszawa : PWN. – 1994. – S. 169.)

Boris Dombrovskiy, PhD in philosophy, noted researcher of Lviv-Warsaw School's heritage

Борис Домбровський, кандидат філософських наук, відомий дослідник спадщини Львівсько-варшавської школи
